«Я знаю, что это дерево» - догматизм философии «здравого смысла».

С позиций позднего Витгенштейна языковые выражения могут что-либо означать только в рамках языковой игры. Например, такое выражение, как «я знаю, что это дерево» может что-либо сообщать только в том случае, когда есть основания сомневаться в том, что это дерево (например, если речь идет о карликовом дереве). Получается, что сложившиеся языковые практики ставят пределы тому, что мы может сказать или подумать о мире. Означает ли такой подход бесповоротное отрицание самой возможности метафизики? Думаю – нет, дело обстоит сложнее. По-видимому, метафизика оказывает особой «языковой игрой», условием возможности которой является, в частности, взаимопонимание ее участников. Тот, к примеру, кто в силах понять, что подразумевает Кант под «Богом», «Душой» и «Абсолютом», становится соучастником особой, философской «языковой игры», и так же дело обстоит с любой другой собственно философской «языковой игрой». Замечания о языковой путанице (fly bottle) со стороны Витгенштейна адресована, пожалуй, не метафизике, а его ближайшим коллегам по аналитическому кругу, в частности, Дж. Эд. Муру, который выступал в защиту здравого смысла, и настаивал, что знание очевидных вещей является достаточным свидетельством в пользу существования внешнего мира. В качестве такой очевидной вещи Мур указывал на свои руки, в которых он не может сомневаться, поскольку точно знает, что они у него есть. В отношении заявления Мура «я знаю, что у меня две руки» Витгенштейн замечал, что это утверждение не имеет смысла, поскольку ни у Мура, ни у его коллег нет ни малейшего повода сомневаться в этом обстоятельстве, кроме того, и это здесь особенно существенно, Витгенштейн уточнял, что в высказывании Мура нет ничего философски необычного. Иными словами, Мур пытался обойтись только теми языковыми средствами, которые предоставляет обыденная языковая практика. А такая практика не предоставляет возможности сомневаться в очевидных вещах, поэтому философ выглядит в таких случаях подобно сумасшедшему, который, глядя на дерево, твердит «я знаю, что это дерево» (пример Витгенштейна).

По всей видимости, философия способна расширять границы употребления языка относительно обыденных контекстов. К примеру, слово «существование» означает в любой метафизической доктрине (Парменид, Платон, Августин и т.п.) не вполне то, или даже совсем не то, что оно означает в обыденном словоупотреблении. Правда, классическая метафизика предпочитала говорить о Бытии, что, впрочем, также не равно тому, как слово «быть» используется в обыденной лексике. Слово «существование» тоже используется в метафизике, и опять же смысл этого выражения в метафизике вовсе не равен обыденному. Внутри метафизики эти выражения тоже различаются по смыслу, что создается всем контекстом соответствующих метафизических построений, например, «Бытие» у Сартра принципиально отличается от «Бытия», которое связывалось в Богом в теологии. Сказанное имеет прямое отношение ко всем специфическим философским выражениям: «свобода», «разум», «знание», «воля», «смысл», «абсурд» и т.п.: во всех случаях можно заметить новизну метафизических смыслов относительно обыденных контекстов, и различия в употреблении этих выражений внутри метафизики.

Итак, в отношении «языковых игр», как они представлены в «Философских исследованиях» и работе «О достоверности» следует, действительно, признать, что Витгенштейн не оставляет возможности философствовать «над» или «под» всеми существующими или возможными «языковыми играми». И это, действительно, может навести на мысль, что тем самым Витгенштейн в очередной раз показал невозможность всякой философии, и препроводил любой акт философствования в «языковую ловушку». И все же, по крайней мере, с моей точки зрения, эта мысль неверна. Конечно, всякая философия претендует на полнейшую мировоззренческую свободу, для нее убийственными будут любые ограничения, связанные с языком, с физиологией, психологией, всеми формами социальности, и здесь мы, вроде как, видим, что непреодолимым препятствием к свободному философствованию как раз и оказывается язык. Но известная

неприязнь метафизиков к идеям позднего Витгенштейна базируется, скорее всего, на ложном толковании «языковой игры». Витгенштейн вовсе не пытался превратить человечество в скопище зомби, запертых в границах обыденного языка. Языковая игра динамична, ее границы подвижны, существует множество самых различных языковых игр, которые выражают самые разные жизненные практики, обыденные, художественные, религиозные, мистические, и нет однозначных оснований исключить правомерность метафизической, трансценденталистской языковой игры. Симптомом языковой ловушки является отсутствие всякого смысла сказанного, когда философ опирается на определенные контексты, но использует слова вопреки тем правилам, которые позволяют агентам понимать друг друга. Именно тогда следует позаботиться об освобождении «мухи из мухоловки». Подобные искажения в наибольшей степени свойственны современной философии, где собственно метафизические проблемы пытаются обсуждать в границах обыденных представлений и обыденной лексики.

Есть, правда, одно значимое ограничение, которое ставится Витгенштейном в отношении всякой метафизики. Осмысленные языковые выражения, любого порядка, не могут быть оторваны от жизни, от тех или иных проявлений жизни. Осмысление жизни не может происходить «поверх жизни», оно должно, так или иначе, совпадать с образом жизни, с формой жизни философа и всех, кто разделяет эту форму жизни. Нельзя всерьез сомневаться в существовании внешнего мира и продолжать жить, как если бы внешний мир безусловно существовал; нельзя всерьез признавать абсурдность мироздания, и при этом направлять все свои помыслы на повседневные дела. Нельзя всерьез отрицать свободу воли и при этом столь же всерьез беспокоиться о собственном выборе. Иначе нельзя исключить вероятность не вполне оправданной спекуляции в философских построениях. Правда, тут довольно трудно провести грань – где заканчиваются вопросы и сомнения, глубоко укорененные в жизни человека, и где начинаются пустые спекуляции.